

Усыпанный по земле обломок к бамбуковым планкам с картами звездного неба, повсюду остатки лекарств, остывшая циновка на кане, бездыханное тело и рыдающий подросток.

С этого дня в мире больше нет матушки, которая защищала его, лелеяла, думала о нем и наставляла.

С этого дня в мире остался лишь он один — совершенно один, одинокий и брошенный, что нёс завет покойной матери, сжимая в руке Бронзову Предков Печать, храня в сердце великое стремление уничтожить Шан, затаив мудрость, затаив сердце, затаив остроту клинка, выживая в эпоху хаоса в унижении и терпении, в ожидании велений небес.

Цзян Цзыя прижимал к груди постепенно остывающее и цепенеющее тело матери, не знаю сколько проплакав. Слезы иссякли, горло осипло, он даже не мог издать плача — остались лишь дрожь во всем теле и разрывающая сердце, пустая и жуткая боль. Снова и снова он гладил иссохшие щеки матери, ее холодные руки, снова и снова тихо звал ее, но в ответ не получал больше ни малейшего отклика.

— Матушка... Матушка, очнись... Не оставляй меня одного...

— Я еще не успел дать тебе пожить хорошей жизнью, еще не успел купить тебе зерна, одежды и лекарств, еще не успел защитить тебя от малейших невзгод... Почему ты ушла...

Бормотал он про себя, словно ведя беседу, фраза за фразой, слово за слово — всё было пронизано болью, разрывающей сердце.

В доме было беднее некуда, западная стена зияла пустотой. Не говоря уж о гробе, погребальных одеждах, благовониях, свечах и бумажных деньгах, нельзя было отыскать даже целой старой циновки или лоскута ткани, чтобы завернуть тело, не говоря уже о хоть какой-нибудь монете, чтобы позвать односельчан на помощь, и невозможно было сварить даже миски горячей каши, чтобы проводить мать в последний путь.

Цзян Цзыя медленно разжал руки, отпуская мать, и окинул взглядом хижину, взрастившую его за эти двенадцать лет. Все, куда падал его взор, состояло лишь из обломков бамбуковых планок, разбитых глиняных кувшинов, остатков сухих лекарств, половины прогнившего ватного тюфяка и пыли на полу — помимо этого, не было ничего.

Дрожа, он разостлал на полу ту самую единственную циновку с изорванными краями и ветхую донельзя, нежно поднял хрупкое, почти ничего не весившее тело матери, аккуратно уложил его и слой за слоем стал туго оборачивать циновкой, боясь, что матери будет холодно, боясь, что она и в подземном мире останется голодной и замерзшей.

Каждое движение было бесконечно легким и бесконечно болезненным.

— Матушка, в дороге холодно, укутайся плотнее... Когда доберешься туда, больше не будет свирепых чиновников, непосильных налогов, болезней и кровавого кашля, сможешь спокойно выспаться и больше не будешь страдать...

Когда тело было укутано, приблизились сумерки. Заходящее солнце, похожее на кровь, окрасило полнеба в багровый цвет, холодный ветер завывал, проникая сквозь щели хижины, и не переставал жалобно стонать. Цзян Цзыя не стал тревожить никого из односельчан, да и просить было не у кого — оставалось лишь в одиночку взвалить мать на плечи и шаг за шагом, спотыкаясь, побрести к пологому склону на холме за деревней, обращенному к солнцу, защищенному от ветра, поросшему тихой зеленью.

Он хотел собственными руками выкопать для матери могилу, собственными руками предать ее земле, собственными руками оберегать ее покой.

Здесь не было ни лопат, ни заступов — лишь грубая деревянная палка да острый кусок камня.

Цзян Цзыя опустился на колени и, работая руками вместо лопаты и камнем вместо мотыги, стал понемногу долбить твердую, ледяную мерзлую землю.

Земля была тверда как камень, кончики пальцев быстро стерлись в кровь, которая выступала наружу, смешиваясь с почвой и окрашивая горсти желтой земли в алый цвет. Он не кричал от боли, не отдыхал, не плакал — лишь механически, безумно копал всё глубже, подготавливая яму, способную вместить тело матери.

Каждый удар лопаты отдавался тяжестью в сердце.

Каждое движение пронзало душу насквозь.

— Матушка, подожди еще немного, твой ребенок скоро все закончит... Скоро предаст тебя земле с миром...

— Матушка, не бойся, твой ребенок будет с тобой до конца, не отойдет ни на шаг...

Копая, он тихо шептал, словно беседуя с матерью, фраза шла за фразой, и в каждой сквозила лишь невыносимая тоска и вина.

Он прокопал добрую половину ночи. Небо усыпали звезды и луна, пронизывающий ветер обжигал холодом, и наконец он выкопал яму подходящей глубины.

Он бережно опустил завернутую в циновку мать в яму, аккуратно выровнял ее положение, опустился на колени у края и снова и снова гладил циновку, а слезы вновь безмолвно катились вниз, разбиваясь о землю.

— Матушка, ребенок провожает тебя в последний путь... Спи с миром...

Он зачерпнул пригоршню желтой земли и мягко сыпанул ее на циновку.

Одна горсть за другой, лопата за лопатой.

Каждая брошенная горсть земли падала словно на его собственное сердце, живьем рассекая его пополам.

Там, внизу, лежала его единственная на всем белом свете родная кровь, та, что оберегала его двенадцать лет, лелеяла двенадцать лет, наставляла двенадцать лет и претерпела ради него всевозможные лишения.

— Матушка, твой ребенок виноват перед твоим упокоением, тебе пришлось уйти так просто, так скудно...

— Матушка, когда твой ребенок добьется своего, я непременно перестрою твою могилу, воздвигну памятный камень, устрою жертвоприношения, чтобы в подземном мире твой покой был величественным и безмятежным, и ты больше не знала ни малейшей обиды...

Слезы затуманили глаза, перед взором стояла сплошная пелена, он не видел ямы, не видел собственных рук — он знал лишь одно: нужно продолжать сыпать землю, непрерывно утрамбовывая ее, чтобы не проникал холодный ветер, не просачивалась дождевая вода, чтобы обеспечить матери надежное, прочное пристанище для вечного сна.

День рассвел ярко, вошло солнце, затем закатилось, снова вошло и снова закатилось.

Маленький земляной холмик наконец вырос под его руками. Ни надгробного камня, ни жертвенных даров, ни бумажных денег — лишь горка свежей земли, пригоршня тоски и сердце подростка, источающее кровавые слезы.

Цзян Цзя стоял на коленях перед могилой, не поднимаясь, не уходя, оставаясь неподвижным у могилы матери.

День и ночь.

Еще день и еще ночь.

Ровно семь дней и семь ночей.

Ни капли воды во рту, ни крупинки риса.

Ветер, палящее солнце, изморозь, ледяная роса, укусы насекомых, голод, холод и тяжелые раны.

Он неуклонно стоял на коленях перед могилой, спина его была прямой, а руки крепко сжимали Бронзову Печать Предков, оставленную матерью на смертном одре. Углы печати до крови истерли ладони, но он отказывался разжать пальцы.

В первые дни он еще говорил вполголоса, снова и снова вспоминая былое, снова и снова изливая тоску:

— Матушка, ты помнишь? Когда я был маленьким и боялся ночного холода, то всегда забирался к тебе в объятия, а ты прижимала меня к себе и не двигалась всю ночь...

— Матушка, ты помнишь? Каждый раз, когда у нас оставалась хоть капля жидкой каши, ты отдавала ее мне, говоря, что не голодна, хотя сама голодала сильнее меня...

— Матушка, ты помнишь? Чиновники Шан отбирали зерно, а ты кланялась в землю до крови, лишь бы защитить меня...

— Матушка, ты говорила, что когда я вырасту и наступит мир на земле, у нас начнется хорошая жизнь... Но почему ты не дождалась меня... Почему не дождалась...

Каждое воспоминание, каждый шепот отдавались эхом в тишине диких гор, где отвечал лишь ветер, а могильные курганы хранили молчание.

К четвертому-пятому дню его голос окончательно осип, он уже не мог произнести ни слова, а лишь молча стоял на коленях, и взгляд его из первоначально убитого горем постепенно становился пустым и мертвым, как у каменного изваяния без души. На дне глаз не осталось ни печали, ни радости, ни слез — лишь мертвенная пустошь.

Он жил словно ходячий мертвец, и во всем огромном мире не нашлось для него даже клочка земли, чтобы приютиться.

От предельного голода в глазах темнело.

От предельного холода все тело трясло.

От предельной боли душа цепенела.

Но он по-прежнему отказывался уходить, двигаться, покидать мать хоть на шаг.

Поздней ночью шестого дня внезапно налетела буря, хлынул проливной ливень, ледящий ветер пробирал до костей, грязевые потоки пропитали тело насквозь, раны, омываемые дождевой водой, невыносимо ныли. Цзян Цзыя стоял на коленях под дождем, насквозь промокший, дрожащий, но по-прежнему выпрямив спину, неподвижный, отдавая себя во власть ветра и дождя.

В помрачении сознания ему показалось, будто образ матери проступает сквозь пелену дождя — с тем же кротким выражением лица и мягким наставлением:

— Яэр, вставай, не губи свое здоровье...

— Яэр, живи, помни слова матушки: затаи мудрость, затаи сердце, затаи остроту клинка...

— Яэр, береги себя, лишь так сможешь спасти людей. Выживи, чтобы уничтожить жестокий Шан и принести мир Поднебесной...

Цзян Цзыя резко открыл глаза. Буря бушевала по-прежнему, могильный курган хранил безмолвие, перед ним не было никого — все оказалось лишь видением.

Но слова матери, каждое слово и каждая фраза, звучали предельно четко, впечатавшись в глубину его души и громовым раскатом пробудив его омертвевшее сознание.

Он медленно опустил голову, глядя на Бронзову Печать Предков в своей ладони, на маленькую могилку перед собой, на бушующий вокруг дождь, на черное ночное небо, на поблекшие звезды и на ту мрачную пелену неба, что предвещала великую смуту в Поднебесной.

На дне омертвевших глаз вновь начал разгораться свет.

Не печаль, не боль, не отчаяние.

А незыблемая, как гора, твердая, как камень, и прочная, как сталь, воля.

Семь дней и семь ночей траура, муки без воды и пищи, предельное терзание от утраты матери не сломили его — напротив, они добела выковали, сожгли и переплавили всю его слабость, всю скорбь и все сомнения, обратив их в несокрушимый железный костяк и непоколебимое Сердце Дао.

Опираясь руками о землю, он с трудом поднялся. Ноги давно онемели и одеревенели, все тело ломило от бессилия, но стоял он прямо и устойчиво.

Посреди бури двенадцатилетний подросток низко поклонился могиле матери, совершив три земных поклона.

Каждый поклон был тяжел, как гора Тай, каждый удар лбом о землю — тверд, как монолит.

Когда он выпрямился, в его глазах больше не осталось ни детской наивности, ни малейшей хрупкой слезинки — лишь бездонное спокойствие, терпение, твердость и суровая непреклонность.

С этого момента Цзян Цзыя перестал быть мальчишкой, живущим ради одной лишь матери.

С этого момента он жил ради простого народа Поднебесной, ради мирного Дао, ради завета покойной матери.

Его клятва укрепилась, буря стала утихать, звездный свет прорвался сквозь тучи, освещая худую, но прямую фигуру подростка.

Он в последний раз глубоко взглянул на могилу матери, крепко сжал Бронзову Печать Предков в ладони и, повернувшись, шаг за шагом уверенно ступил в неоглядную ночную тьму и пыль хаотичных времен.

Ему некуда было идти, не к кому обратиться за помощью, в памяти жило лишь то, что в сотне ли отсюда проживал дальний сородич по имени Цзян Хуань, который в прежние годы был кое в чем обязан его отцу, а ныне занимался крестьянским трудом в соседней Деревне Цзян. Это место с натяжкой можно было назвать единственным уголком в охваченной хаосом Поднебесной, где он мог укрыться от непогоды.

Путь предстоял долгий. Высокая дикая трава скрывала колени, в лесах таились волки и тигры, а мародеры и отряды жестоких правителей Шан рыскали повсюду. Одежда Цзян Цзыи была тонкой, подошвы обуви протерлись насквозь, ступни давно были изрезаны острыми камнями в кровь, и каждый шаг отзывался пронзительной болью. В животе было пусто, утолять голод приходилось лишь жесткими придорожными травами да холодной водой из горных ручьев.

Шел он ровно три дня. Волны кровавых мозолей сменяли друг друга на стопах, раны гноились, одежда превратилась в лохмотья от цепляющегося терновника. Наконец, опираясь на заглаженную до блеска деревянную палку, он, спотыкаясь, ступил на земли Деревни Цзян.

Деревня Цзян насчитывала едва ли сотню дворов, все ее жители были боковой ветвью рода Цзян. Хижины стояли низкие, дым из труб вился скудно, отовсюду веяло нищетой и унынием низов охваченного смутой мира. У старого вяза при входе в деревню несколько детей, заметив его рваную одежду, изможденный вид и сходство с нищим, с криками и хохотом обступили его, бросая комья грязи и камни.

— Мелкий оборванец! Откуда этот ублюдок взялся?

— Проваливай из нашей Деревни Цзян! Не пакости на нашей земле!

Цзян Цзыя опустил взгляд, храня молчание. Опираясь на палку, он медленно обошел детей и направился к самой дальней глинобитной хижине на западной окраине деревни — там жил его сородич Цзян Хуань.

Хижина была низкой и ветхой, забор обрушился больше чем наполовину, в углу двора валялись сухие дрова и разный хлам, а у порога стояла породная женщина с едким выражением лица и расставленными руками, отчитывавшая батрака. То была жена Цзян Хуаня, Лю-ши.

Обладая острым зрением, Лю-ши с первого взгляда заметила худую темную фигуру у ворот. Ее брови мгновенно сошлись на переносице, и она с крайним отвращением громко прикрикнула:

— Что за оборванный нищий? Смеешь вламываться в ворота двора семьи Цзян, жить надоело?!

Цзян Цзыя с трудом удержал шатающееся тело, склонился в поклоне, и хоть голос его из-за многодневного голода и сухости в горле звучал хрипло, в нем по-прежнему слышалась сдержанная учтивость:

— Приветствую тетюшку, младший племянник Цзян Цзыя, происхожу из дальнего ответвления рода. Мой покойный отец Цзян Чу в прошлые годы был в товарищах у дяди, и я прибыл сюда в надежде найти прибежище.

Лицо женщины сделалось еще холоднее, а уголки рта искривились в злой усмешке:

— Цзян Цзыя? Что еще за бродячие псы и кошки смеют набиваться в родственники нашему роду Цзян? С чего это я никогда не слыхала о таком человеке! Судя по твоему жалкому виду, ты не кто иной, как прохиндей, ищущий халявной еды!

Едва она договорила, как из дома вышел худощавый мужчина с робким выражением лица — это был Цзян Хуань. Увидев в чертах лица Цзян Цзыя некое сходство сородичей по крови Цзян и услышав имя его отца, он на мгновение замялся, подошел, дернул Лю-ши за рукав и тихо проговорил:

— Жена, не будь столь груба... Этот ребенок действительно наш дальний сородич, в прошлые годы его отец выручал меня несколько раз. Теперь же он в беде, давай... позволим ему остаться на несколько дней.

Лю-ши яростно оттолкнула руку Цзян Хуаня и завизжала так громко, что все во дворе бросили на нее косые взгляды:

— Остаться на несколько дней? Цзян Хуань, ты спятил?! Мы сами едва сводим концы с концами, ртов полон рот от мала до велика, арендуем землю у помещика, налоги душат так, что вздохнуть невозможно, а ты хочешь кормить бесполезного дармоеда? Его родители небось давно на том свете, а сам он — никому не нужное бремя!

Руки Цзян Цзыи, опущенные вдоль тела, сжались в кулаки, Бронзовая Печать Предков впилась в ладонь до боли. Боль от утраты матери еще не улеглась, а теперь его подвергли такому унижению, и сердце словно полоснули тупым ножом. Однако, помня наставление матери «затаи остроту клинка», он упорно опускал голову, не произнося ни слова. На дне его глаз не было ни гнева, ни скорби — лишь мертвенная тишина.

Цзян Хуаня от ругани жены бросило в краску, но по природе своей он был человеком робким и возразить не смел, а потому мог лишь виновато улыбаться Цзян Цзые, говоря еле слышным шепотом:

— Племянник, прости... Просто в доме и впрямь нужда. Если ты не брезгуешь, оставайся выполнять какую-нибудь работу за миску похлебки, но... тебе придется несладко.

Услышав это, Лю-ши запрыгала от злости и заголосила пуще прежнего:

— Работенку ему? Слишком жирно! Слушай сюда, щенок: хочешь оставаться в моем доме — паши как вол с утра до ночи. Посмеешь схалтурить хоть на мгновение, ноги переломаю! И ни единой крошки обедков не получишь!

Цзян Цзыя медленно поднял глаза на Лю-ши и ответил ровным, без единой эмоции голосом:

— Младший понимает, пусть тетушка распоряжается как сочтет нужным, у меня не будет ни единой жалобы.

Он не просил ни жалости, ни хорошего отношения — он просил лишь об уголке, где можно преклонить голову, просил лишь о возможности выжить, чтобы посреди унижений продолжать чтение древних трактатов, наблюдение за звездами и расчеты, накапливая силы в ожидании грядущего дня.

С этого момента для Цзян Цзыи в Деревне Цзян началась жизнь на чужбине, полная притеснений и жестокого обращения.

Лю-ши была скупа и жестока на сердце. С самого первого дня она взвалила на плечи двенадцатилетнего Цзян Цзыи всю самую тяжелую, изнурительную, грязную и черную работу, не выказав ни капли жалости и обращаясь с ним хуже, чем с низшим слугой. Даже дворники и батраки в их доме жили куда приличнее него.

Едва забрезжит рассвет, когда петухи еще даже не начинали петать, пронзительный окрик Лю-ши безжалостно разрывал холодную тишину дровяного сарая, обрушиваясь на Цзян Цзыю.

— Мелкий ублюдок! Все еще не встал? Хочешь дрыхнуть до полудня и бить баклуши? Говорю тебе: если сегодня не нарубишь сто цзиней сухого хвороста, не натаскаешь двадцать коромысел воды и не смелешь три доу пшеницы — можешь даже не рассчитывать на еду!

Дровяной сарай был сырым и холодным, со всех сторон продувался ветром, в крыше зияла черная дыра за дырой, сквозь которые беспрепятственно задували дождь, снег и мороз. На полу был разостлан лишь тонкий слой сухой соломы, ни одеял, ни матрасов. В лютые зимние морозы руки и ноги Цзян Цзыи синели и трескались, раны кровоточили, а ледяной ветер пронизывал их насквозь, вызывая воспаления и нагноения. Боль лишала его сна на всю ночь, но он не смел издать ни звука.

Еще до рассвета он с трудом поднимался, растирая онемевшие и одеревеневшие ноги, подбирал отшлифованную до блеска деревянную палку, взваливал на плечо тесак для дров, что был выше его самого, и отправлялся в густой лес на заднем склоне.

Склон был крутым, сухой хворост рос главным образом среди колючих зарослей у обрывов. Цзян Цзыя был мал ростом и слаб силами, и нарубить сто цзиней хвороста казалось делом невыполнимым. Колючки разрывали одежду, царапали руки, щеки и шею, кровь сочилась из ран, смешиваясь с потом, прилипала к ткани — было холодно и больно. Стиснув зубы, он рубил ветку за веткой, пока руки не теряли чувствительность от усталости, но не смел остановиться, боясь опоздать хоть на шаг и навлечь на себя побои и брань Лю-ши.

В полдень, когда палило солнце и стояла невыносимая духота, Цзян Цзыя, взвалив на плечи тяжелую охапку дров, шаг за шагом тащился с горы. Веревки для дров врезались в плечи, оставляя глубокие кровавые слезы, кожа стиралась в кровь и прилипала к пеньковой веревке, и каждое движение отзывалось разрывающей сердце болью.

Стоило ему свалить дрова в углу двора, как тут же следовал новый окрик Лю-ши:

— Дохлый щенок! Даже дрова таскаешь как черепаха! Живо за водой! Горный источник находится в десяти ли отсюда, ты должен досыта наполнить три большие бочки в заднем дворе! Уронить хоть каплю — оболью тебя холодной водой!

Десять ли горной дороги были извилистыми и трудными для прохода, ведра — тяжелыми. Цзян Цзыя еле ковылял с пустыми ведрами, а когда наполнял их ледяной водой, тяжесть сгибала его спину в три погибели, ноги дрожали. Дорога туда и обратно заставляла расплескивать воду, раны на плечах кровоточили от трения коромысла, пропитывая одежду. Сделав несколько десятков ходок с полудня до заката, он наконец заполнил все три бочки. Насквозь промокший, обессиленный до потери сознания, он прислонялся к краю бочки и тяжело дышал, в то время как перед глазами кружили черные мухи.

Однако неумолимая Лю-ши продолжала наседать, указывая на каменный жернов во дворе и требуя зловещим голосом:

— Чего застыл! Три доу пшеницы должны быть смолоты до наступления ночи! Посмеешь задержать завтрашний завтрак — морить голодом буду три дня и три ночи!

Каменный жернов был тяжел, обычно его крутили вдвоем, но Цзян Цзыя был вынужден справляться в одиночку. Обеими руками вцепившись в ручку, его хрупкое тельце упиралось в

диск жернова, и он шаг за шагом с трудом сдвигал его с места. Ручка стирала ладони в кровь, которая смешивалась с пшеничной мукой, превращаясь в липкую массу. Он молотил зерно с сумерек до глубокой ночи, когда небо усыпали звезды, кусал зубами пронизывающий холод, а онемевшие руки и ноги отказывали, но все равно не смел остановиться.

Вдобавок ко всему — кормить свиней, мести двор, стирать белье, готовить еду, косить траву, задавать корм быкам, убирать навоз, чинить прохудившуюся крышу... Вся черная работа легла на его плечи. Он трудился с утра до ночи, не имея передышки ни на мгновение.

Стоило ему хоть чуть-чуть замешкаться, как Лю-ши пускала в ход палку или просто окатывала его ледяной водой. В самый разгар суровой зимы холодная вода заливала его с головы до ног, заставляя дрожать всем телом и стучать зубами, но он мог лишь молча терпеть, не смея сопротивляться или оправдываться.

Однажды, когда он принес немного еды, Лю-ши пинула миску со злобой и выругалась:

— Кто разрешил тебе отдавать еду этому дармоеду-паразиту?! Он не достоин съесть в доме семьи Цзян ни единого зернышка! Сдохнет с голоду — и то лучше!

Цзян Цзыя смотрел на раздавленную лепешку на земле, чувствуя, как в животе от голода скручивает кишки и режет от боли, но он лишь молча наклонился, поднял обломки лепешки и спрятал их в углу дровяного сарая, чтобы глубокой ночью, когда никого не будет, понемногу сжевать их и хоть как-то утолить голод.

Дядя Цзян Хуань видел все это, и сердце его обливалось кровью, но страх перед крутым нравом жены заставлял его лишь тайком говорить Цзян Цзые:

— Племянник, тебе тяжело... Тетушка крута нравом, потерпи немного. Когда-нибудь... когда-нибудь дядя скопит немного зерна и тайком оставит тебе.

Цзян Цзыя кланялся в знак благодарности, отвечая спокойным голосом:

— Благодарю дядю, младшему не тяжело. Выжить — уже великое счастье.

Он никогда не жаловался на тяготы, не роптал и не молил о пощаде. Все унижения, побои, голод, холод и раны он молча проглатывал на дне своего сердца, превращая их в пылающий огонь, кующий его Сердце Дао.

При нем хранилось несколько свитков изорванных бамбуковых планок, привезенных из старого дома. На них были записаны военные трактаты, даосские каноны, астрология и география — они оставались его единственным светом в эту смутную пору.

Глубокой ночью, когда Лю-ши с домашними уже сладко спали и вся Деревня Цзян

погружалась в тишину, лишь в дровяном сарае тусклый лунный свет пал на худую фигуру подростка.

Скрестив ноги, Цзян Цзыя расстилал бамбуковые планки на коленях и при слабом свете читал их слово за словом. Его пальцы легко касались вырезанных на бамбуке иероглифов, губы беззвучно шевелились, повторяя прочитанное. Он мысленно разыгрывал расстановку войск по военным трактатам, наблюдал за движением звезд за окном, практиковал дыхательные техники поддержания здоровья. Его дух погружался в это всецело, заставляя забыть о голоде, холоде, боли и всех унижениях и оскорблениях этого мира.

Когда потрескавшиеся пальцы не могли удержать бамбуковые планки, он оборачивал их рукавом и продолжал упорствовать. Когда воспаленные раны пронзительно ныли, он стискивал зубы и терпел, не позволяя разуму дрогнуть. Когда голод в животе становился невыносимым, он разжевывал пару горстей спрятанных диких травок и продолжал упорное чтение.

Порой посреди ночи Лю-ши вставала по нужде и, заметив в сарае слабый свет, врывается туда в ярости, вырывала свитки из рук мальчика, со злостью швыряла на землю, топтала ногами и орала:

— Мелкий ублюдок! Среди ночи не спишь, смеешь жечь лампу и тратить масло! Ты смерти ищешь!

Бамбуковые планки с хрустом ломались под ногами, вырезанные иероглифы стирались. Сердце Цзян Цзыя сжималось — это было последнее напоминание, оставленное матерью, но он по-прежнему опускал голову, молча снося побои и брань Лю-ши. Лишь когда она уходила, он молча подбирал сломанные планки, собирал их по кусочкам, скреплял слюной и продолжал читать.

Дети из рода, видя, как его изо дня в день третируют и как он помешан на бамбуковых свитках, высмеивали его как «книжного червя» и «никчемную кость». Они преграждали ему путь, отнимали свитки, швыряли их в грязь, били и дразнили.

— Цзян Цзыя! Никчемный книжный червь! Какая польза от этих деревяшек! Лучше бы покатал нас верхом, как вол!

— А ну отдавай свои дрянные бамбуковые планки! Иначе заьем до смерти!

Цзян Цзыя прижимал свитки к груди, опуская глаза и уступая дорогу, не выражая ни гнева, ни раздражения, лишь тихо произнося:

— Уважаемые кузены, перестаньте баловаться, верните мои планки.

Дети, видя его мягкотелость, нагнали еще больше: они толкали его, швыряли в грязь, так что

он с ног до головы пачкался нечистотами, а бамбуковые планки намокали.

<http://bllate.org/book/19338/1890985>